

«Я выбираю свободу быть просто самим собой»

Моск. новости. — 1997. — 14-21 дек. — с. 1, 5

20 лет назад умер свободный человек — Александр Галич.



— Саша, мне привезли из Москвы кассету с новыми песнями Булата. Одна — потрясающая!

И я спел своим противным голосом «Батальное полотно».

— Очень хорошо, — сказал Галич и как-то боком пошел к выходу из парижского бюро радио «Свобода».

Я смотрел ему вслед и чувствовал: Галич обиделся. Не надо было мне этого делать...

Крайне редко рождаются люди с божественным даром великого артиста, певца, поэта, еще реже они этот дар реализуют. Однако когда все это совпадает и благодарный зал смеется, плачет и провожает своего любимца шквалом аплодисментов, устанавливается неразрывная связь: публика не может жить без своего артиста и артист — без публики. Ну представьте себе,

что в самый разгар своей блистательной карьеры Майя Плисецкая чем-то разгневала советскую власть и в каком-то высоком кабинете ей говорят: «Гражданка Плисецкая, мы вас не арестовываем, не ссылаем, более того — пожалуйста, танцуйте. Но только в своей квартире». Милостивое решение, особенно в сравнении с другими несчастными судьбами. По Майе Плисецкой можно было бы сразу заказывать панихиду. Примерно так произошло с Галичем. Примерно, потому что в миллионах малогабаритных квартир продолжали крутиться магнитофоны с записями его песен, но прямая связь со средой, откуда он черпал вдохновение, прервалась. «Мы пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело косхалвой», — ни один гениальный поэт не мог бы такого сочинить вне родных стен!

(Окончание на стр. 5)

«Я выбираю свободу...»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Люди, получившие народное признание, дорожили им. Да, приходилось приспосабливаться к советской власти. В ту эпоху теперешние знаменитые сатирики (не в упрек им будет сказано) писали невинные тексты для Аркадия Райкина, умудряясь все-таки запрятывать в реплики «фигу», ибо Райкину было больше позволено. Лишь Галич осмеливался открыто выступать с политической сатирой, и власти вынуждены были терпеть. Естественно, морщились, ворчали, но не хотели ссориться с популярнейшим драматургом и киносценаристом. Дескать, ладно, пусть поет в академгородках. Убежден, что даже партапаратчики среднего звена, заперевшись дома на семь замков, втихаря включали магнитофон с пленками Галича. Потом грянул гром. История известная. Повторяю ее специально для товарища Зюганова, для тех, кто за него голосует, для тех, кто ностальгически вздыхает по Союзу писателей — кормилицу. Случилась свадьба в доме члена Политбюро. Раздухарившаяся молодежь (дети номенклатуры ощущали себя более свободными, чем их простые сверстники) крутила кассеты с Галичем. На беду папаша не успел окончательно упиться и при первых куплетах мгновенно протрезвел. На следующий день позвонил в МК партии: «Виктор Васильич, почему ты в московской писательской организации держишь антисоветчика?» Заметьте, не акция КГБ, не постановление ЦК партии — один член Политбюро сообщает другому свое мнение. Товарищ Гришин тут же позвонил на улицу Воровского, и через неделю секретариат московских писателей исключил Галича из союза. Послабления разом кончились. Отныне гражданину Галичу запрещалось высовывать нос за пределы своей квартиры. Чтоб не повеситься, оставался один путь — эмиграция.

...Трудно заподозрить Галича в зависти к Окуджаве или к набравшему тогда особую популярность и силу Высоцкому. Он знал, что он — один из трех великих бардов России. Но когда в бюро

радио «Свобода» я спел Галичу новую песню Булата, то невольно насыпал соль на открытую рану. Ведь Окуджаву и Высоцкий не потеряли связи со своими почитателями, со своей аудиторией, а Галич чувствовал себя почти как в безвоздушном пространстве. Конечно, он ездил по «заграницам», выступал. Концерт в Нью-Йорке, концерт в Израиле, зал ломился, рыдал, ревел от восторга. Но на второй концерт публики не набиралось. Русская эмиграция тогда была еще жиденькая. Выступал он на фестивалях Италии и Франции. Французы и итальянцы усердно хлопали, да разве в переводе понять игру слов: «Что у папаша у ее пайки цековские, а по праздникам кино с Целиковской»?!

В Париж приехал только что выпущенный из тюрьмы Буковский. Вся наша парижская эмиграция собралась на квартире у Ниссенов, эмигрантов первой еще волны, привычавших все последующие (одной квартиры хватило, чтобы собрать всех!). Застолье вперемешку с политикой. Все-таки первая наша победа! Раскачали общественное мнение Запада, Запад поднажал и... «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». Максимов успел вкатить выговор Ростроповичу (Слава, добрая душа, отозвался хорошо о ком-то из советских), но тут Некрасов предложил: «Пускай Саша споет». Галич взял гитару. До которого часа он пел, я не помню. Помню только, что такого прекрасного вечера, такой эйфории в Париже больше не было.

Галич проработал в парижском бюро меньше года. Потом я десять лет сидел в его кабинете и всем вновь прибывшим объяснял: «Это кабинет Галича».

«Я хотел бы жить и умереть в Париже». Неправда. Маяковский мечтал жить и умереть с Татьяной Яковлевой. Бывают такие женщины, с которыми все равно где жить и умирать. Высоцкий стремился не столько в Париж, сколько к своей Марине. Глупо рассуждать о достоинствах и красотах Парижа, всем он мил, но для русского поэта не приспособлен. Русские музыканты, художники,



Анатолий ГЛАДИЛИН,

писатель

танцоры покорили Париж. Русские поэты (первая эмиграция) чувствовали себя чужими в этом городе. На материальную сторону своей жизни Галич не мог пожаловаться и ходил по Парижу, как денди, в шляпе «пирожком» и с палочкой. Но все его передачи по радио начинались с песни «Когда я вернусь».

«Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи — тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый. И я упаду, побежденный своею победой...»

«Когда я вернусь». Персональные позывные Галича. Он знал, что ему не суждено вернуться.

...Я все не могу привыкнуть, что я уже старше Галича. «Последний из могокан» нашей парижской литературной эмиграции, я «родительский день» провожу с внуками. С младшим, Шуриком, у нас особая прогулка, постоянный маршрут. Шурик помнит всех соседских котов и собак и лопочет на своем птичьим французско-русском языке, который я не всегда понимаю. Как заведенная пластинка, я говорю с ним по-русски. Если я не буду этого делать, русский он забудет. Мы идем вдоль длинной каменной стены, и у раскрытых ворот Шурик всегда останавливается. Я знаю, что теперь с места его не сдвинуть, что он минут десять будет наблюдать, как из ворот и в ворота въезжают машины. А я смотрю на белое здание в глубине двора, на окна второго этажа. Когда Шурик подрастет, я ему расскажу, что в этом госпитале умер Окуджаву.